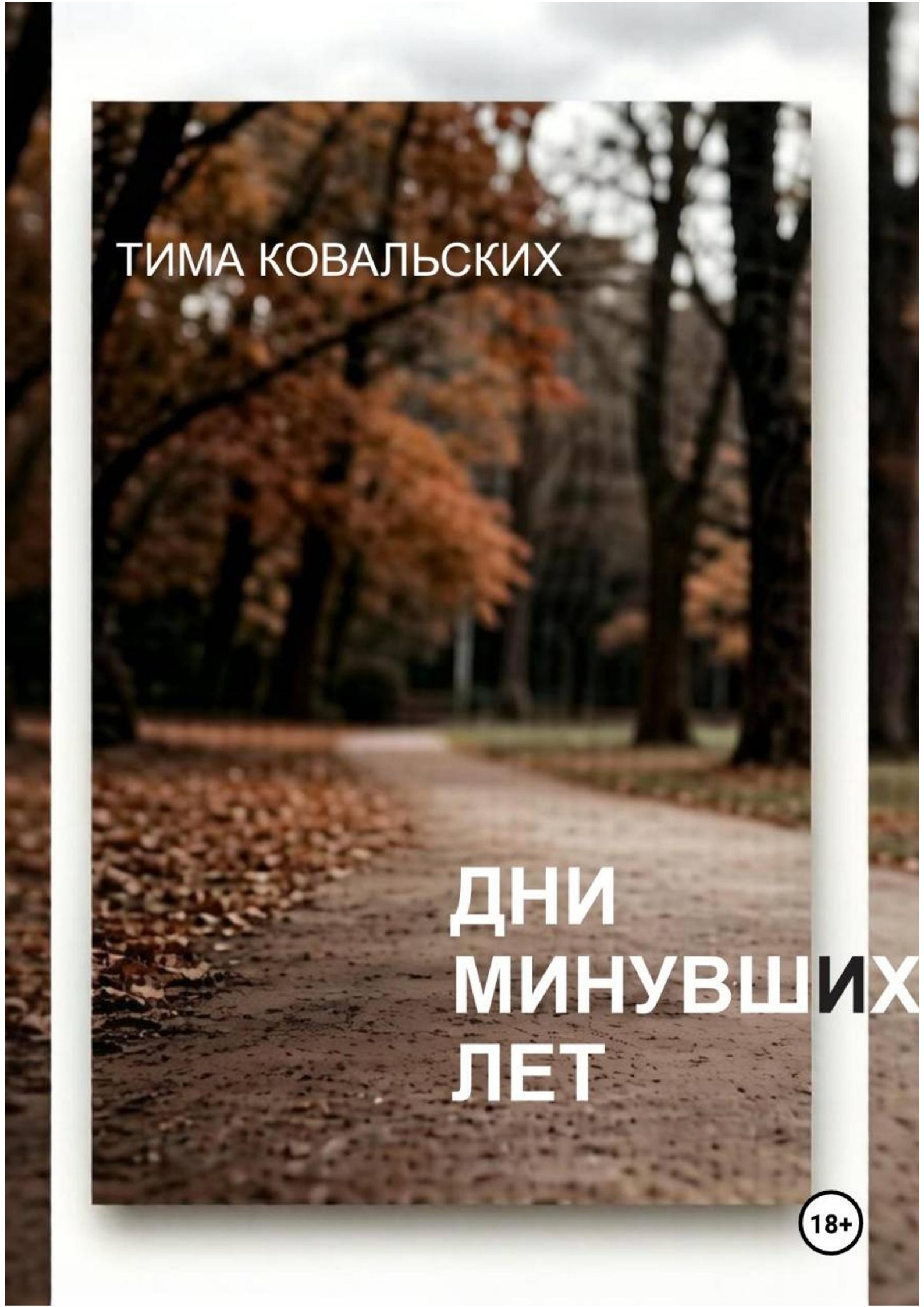

ТИМА КОВАЛЬСКИХ
ДНИ
МИНУВШИХ
ЛЕТ
18+

Тима Ковальских

Дни минувших лет

«Автор»
2026

Ковальских Т.

Дни минувших лет / Т. Ковальских — «Автор», 2026

Это тихая и грустная, но не безнадёжная книга о памяти. Здесь есть детство, когда казалось, что впереди только прекрасное. Есть взрослая жизнь со своими бедами и утратами. Есть одинокая старость.Герои собирают собственное прошлое по кусочкам — по воспоминаниям о родителях, соседях, друзьях, по мелким деталям, которые со временем превращаются в историю.Главная мысль сборника рассказов проста: несмотря ни на что, жизнь нужно проживать. И помнить. Помнить других и помнить себя."Дни минувших лет" - это книга для тех, кто любит лирическую прозу с её радостью и с её грустью.

© Ковальских Т., 2026
© Автор, 2026

Тима Ковальских
Дни минувших лет

Кулёк конфет

Был май.

Цвела черёмуха. И казалось, что вот-вот она сведёт тебя с ума этим приторным и одурманивающим ароматом.

С калиткой играл ветерок, будто ребёнок: кач-кач-кач.

Я сидел на крыльце и пытался починить старый радиоприемник. Он буквально на днях прохрипел в последний раз тонким и умоляющим голосом какой-то неизвестной мне певицы.

…Но я любил слушать эту маленькую коробочку. Бывало, поставишь около гаража, вытянешь мелкую антенну, обвяжешь её проволокой, которую потом прицепишь к шиферу. И вот тебе песни, и вот тебе присутствие кого-то.

– Эй, Костик, – внезапно раздался голос деда Ивана. – Выходи! Посидим, покурим.

Я вышел за ограду. Дед Иван уже сидел около берёзы на скамейке, а рядом с ним лежал небольшой бумажный кулёк.

– Ну как там… – он любил недоговаривать до конца.

– Да пойдет! Радио сдохло. Чиню, – безнадёжно последнее слово.

– Радиво, говоришь? Зачем тебе оно? Телевизора мало?

– Да когда мне его смотреть? Я ж на улице работаю. Много.

В это время дед Иван полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшой тряпичный мешочек с махоркой. Из другого кармана достал клочок районной газеты, аккуратно порвал его на две части, причём вторую он свернул пополам и положил обратно. Побитыми пальцами взял щепотку махорки и медленно, будто боясь пересолить, посыпал на газету. Скрутил, зажал губами. Из того же кармана, где была газета, достал коробок спичек и поджёг папиросу. Дым – смесь табака, бумаги и полиграфической краски – был слишком ядовит, отчего дед Иван закашлял.

– Ну, рассказывай… – затянувшись.

– Да чё рассказывать? Завтра поеду в колхоз устраиваться. Взяли меня бригадиром. Сегодня у них там кто-то приехал из райцентра, сказали – не приходить.

– У них там так всегда! Важные персоны… Ходят по коврам, пьют индийский чай и кофэ. Знавал я их.

– Дед Вань, там ни у кого нет собаки? Щенка. Доски вон нашёл, хочу будку сделать. Собака нужна.

– Собаку говоришь? У Меньделя ощенилась вроде бы недавно. Если не утопил, то у него спросить надо.

– Кабеля, конечно, лучше. А то потом грех на душу брать. Итак котят вон, – кинул взгляд на кусты клёна, – ещё лет пять буду вспоминать.

– Я пойду вечером, спрошу, – и после некоторого молчания. – Жениться-то не собрался?

– Да нет. Пока ещё… Может, на следующий год. Не знаю.

Дед Иван прожил со своей женой около десяти лет. И как он сам говорил: «Вот это была жись!» Но случилось что-то непонятное. Даже мистическое. Во время грозы Лидия пыталась на поляне отвязывать взбесившегося теленка. Миг – молния. Миг – гром. Пропали и жена, и теленок. Искали всем поселком. Не нашли.

– Ты смотри, Костик, время-то бежит. Не успеешь оглянуться, как бац – и старик. Посеедеешь, болячек нахватаешь. И жись – не жись.

…Мы оба молчали. Глядели по сторонам. Дед докуривал папиросу. Над нами чирикали воробьи и лишь смелые спускались на землю. За семечками, которые кто-то рассыпал по утру.

– Ну… пошёл я, – приподнимаясь, сказал дед Иван. – И это, я не буду в дом заходить, передай Варваре Павловне конфеты, скажи, гостинец от меня, – он сунул мне кулёк, чтобы я передал его своей бабушке.

Когда дед Иван приехал в наше село, а это было почти тридцать лет назад, он познакомился с моей бабушкой. Она ему безумно понравилась. Влюбился тайно.

Но у неё уже был муж, мой дед.

…Так и жили. Работали, отдыхали. Дед Иван подружился с моим дедом.

Как-то на сенокосе отдыхали. Пили квас, ели хлеб с салом, огурцы. Играли в карты. На желания. И тут бабушка моя обыграла деда Ивана. И то ли в шутку, то ли всерьёз сказала ему:

– Каждый месяц, Иван, ты должен приносить мне кулёк конфет. Не нужно дорогих, не нужно заграшиных. Просто кулёк конфет.

А он тут возьми, да скажи, не подумав:

– Каждый месяц и до конца своих дней!

Я приоткрыл кулёк. В нём любимые конфеты моей бабушки «Буревестник».

Взял сладости, пошёл в дом. Подальше от солнца: растаять могут.

На пороге меня встретил кот Василий. Лениво посмотрел на меня.

В доме было прохладно. Свежо. Летало несколько мух.

Бабушки не было в доме.

Бабушки не было в доме уже три года.

Людочка

Был август 13-го. Сухой. Душный.

Дожди забылись. Они заглядывали в этот город редко.

Людмила Иосифовна поливала цветы. Тоненький носик лейки аккуратно подпитывал каждый стебелек: красиво и никуда не торопясь.

В свои семьдесят пять невысокая женщина была немного худа, а красота, данная ей от природы, продолжала радовать этот мир. Она не любила украшения, которые порой подчеркивали элегантность или статность женщины. Единственное, с чем она никогда не расставалась, – гранат, филигранно заточенный в серебряный овал.

Тот день был субботой.

Людмила Иосифовна поставила лейку на столик, а сама села в кресло отдохнуть. Огромное окно было открыто. На подоконнике лежал кот Жорик. Лениво открывал и закрывал свои мелкие пуговки. Лениво ничего не делал.

Величественно пела канарейка. Солушка, а именно так ее звали, сидела на маленьком ровном выступе в клетке и радовала хозяйку своим ясным голоском.

…Но в дверь постучали. Птица вмиг умолкла. Людмила Иосифовна встала с кресла, поглядела в висящее около дивана зеркало и направилась в сторону двери.

Это был почтальон.

– Здравствуйте, Людмила Иосифовна, – голос женщины с огромной сумкой на плече был весьма звонок. – Заказное письмо вам.

Обычно, когда приходили заказные письма, Людмилу Иосифовну извещали небольшим, размером с календарь, уведомлением. А тут – сразу письмо принесли.

– Распишитесь в правом углу и поставьте дату.

Пока женщина расписывалась, почтальон достала из сумки конверт. Его размер был чуть меньше альбомного листа, а в поле «от кого» всего лишь имя и фамилия.

– Спасибо.

В двери зашуршал замок. Людмила Иосифовна прошла в комнату, из шкафа достала ножницы и аккуратно вскрыла конверт. В нем оказался ещё один конверт и небольшая записка.

Здравствуйте, Людочка.

Я не знаю, кем Вы приходитесь Николаю Афанасьевичу, женой, дочерью, внучкой или кем-то другим, он сообщил мне только имя и адрес Ваш, никаких других данных нет, но я вынуждена сообщить: вчера у Николая остановилось сердце. Буквально за два дня до этого он принес мне запечатанный конверт, который я вложила к этому письму, и попросил отправить его Вам, что я и сделала. Искренне примите мои соболезнования.

Варвара Толоконская

Людмиле Иосифовне стало всё понятно. Но она вскрыла конверт от Николая. Так же, как и все предыдущие его письма – с правой стороны от марок.

В конверте было не только письмо, но и выгоревшая газетная фотография, на которой всего два человека: молодые Людочка и Коленька. Ещё была светлая лента. Она её сразу узнала. И почерк на листочках в клеточку она тоже узнала. И карандаш узнала – он всегда ей писал письма только грифельным карандашом.

Дорогая, Людочка, солнце моё ненаглядное!

Это письмо я переписал уже три раза: уж больно оно мне дается. Но я решил, что это окончательный вариант.

Вчера, гуляя по парку, я вспоминал, с чего всё началось… С той маленькой записки ровно сорок два года назад в Курске. Я до сих пор помню её содержание наизусть. Великая вещь – наша память! Так вот, Людочка, сорок два года мы пишем друг другу письма. Сорок два! Почти, но не полвека.

Предыдущей ночью я перечитал все твои письма. Ровно восемьсот четырнадцать. В каждой букве, в каждом слове, в каждой строчке – ты. Твои безумно красивые глаза, твои тонкие губы, аромат сирени и лёгкая походка. Всё это ты, Людочка!

Ровно сорок два года мы не виделись с тобой. Ты помнишь, мы договорились не присылать друг другу фотографии? Помнишь? Чтобы в нашей памяти остались те – красивые и любящие эту жизнь, ещё не состарившиеся, но уже не молодые, люди. Людочка, ты такой и осталась, ты такой и будешь в моей памяти. Всегда.

Помнишь, мы сидели в кафе, и к нам подошел фотограф местной газеты, попросил ему попозировать? Помнишь? Ты всё время улыбалась, смеялась. А тот мальчишка истратил всю пленку на нас. Кстати, я тебе выслал фотографию нашу. Посмотри, какими мы были.

А ещё я выслал тебе твою ленту, что носил во внутреннем кармане всю оставшуюся жизнь. Для меня она – глоток того времени, глоток серого дня, превратившегося в настоящий праздник длиною в сорок два года. И я счастлив этому.

Честно признаюсь, Людочка, я тебя полюбил с того самого раза. Когда впервые увидел. Прости, что ни разу тебе не говорил этих слов. У тебя муж. Боялся я, что не так поймет он.

Людочка, позволь мне ещё раз обратиться к тебе – Людочка, спасибо тебе за те письма, которые ты мне присылала. Они для меня были чем-то необычным, чем-то загадочным и дающим силы жить. Но ещё, Людочка, я хочу попросить у тебя прощения за то, что вчера ночью я их сжёг. Прости, но я не хотел, чтобы кто-то их читал, не хотел, чтобы кто-то прожил нашу (можно я так назову?) с тобою жизнь.

Последнее твоё письмо пришло в конце июня. Я не мог ответить на него: больница меня забрала полностью – и силы, и слова. И лишь выбравшись оттуда, я смог написать тебе…

За окном падают листья. Странно немножко: вроде бы не осень, вроде бы не лето. А я почему-то вспомнил… Красивый стих, который ты мне написала в конце письма за 26-е сентября 1987 года. И вправду: «…между осенью и летом опадает лист, между ночью и рассветом встретились. С тобой…»

Единственное, о чём я жалею, – это моё последнее письмо тебе. Но, Людочка, не надо грустить, тем более, не нужно плакать. Я прошу тебя лишь об одном: пусть я останусь всё тем же озорным Колькой в твоей памяти, тем мужчиной, который знает, что такое жить и писать. Жить и писать письма человеку, которого действительно любишь.

11.08.2013

Закончив читать письмо, Людмила Иосифовна положила его на журнальный столик. Медленно взяла ленту, подошла к зеркалу. Из волос вытянула несколько невидимок, подвязала их так же, как сорок два года назад. «Удивительно, до сих пор помню этот узор», – подумала она. Далее – подошла к окну и долго смотрела во двор.

Она не услышала, как вошёл муж, она не услышала, как вновь запела канарейка. Она просто стояла около окна и о чём-то думала.

Геннадий прошёл по диагонали комнату, ненароком кинув взгляд на конверт.

– Опять твой литературный любовник написал письмо? – немного с иронией спросил он.

Людмила Иосифовна молчала. Её глаза искали в прозрачном воздухе паутинку, чтобы хоть как-то зацепиться. Чтобы хоть как-то оправдаться. Но паутинки не было – предательски поступила.

– Это его последнее письмо, – сухо произнесла она, повернувшись к Геннадию.

Он изменился в лице, подошёл к жене и, как это бывает, прожив столько лет вместе, нежно обнял её. Прижал к себе.

…В комнату заглянул ветер. Прогулялся по замкнутым просторам гостиной, заглянул в уголки, проскользнул по фотографиям, висевшим на стенах. И осознав, что здесь он лишний, задел свисшие концы ленты в волосах Людмилы Иосифовны, отчего они слегка встрепенулись, и ушёл прочь в распахнутое настежь окно.

Попытка

Поднимался по ступенькам медленно. Секунд тридцать – один этаж.

Второй.

Третий.

Четвертый.

Перед дверью четырнадцатой квартиры остановился. Выдохнул. Поставил пакет с продуктами на коврик. Дотянулся до звонка. Нажал мелкую пуговку. Стал ждать.

Заскрипели пружины, стальной штырь пробороздил по металлу. Щелчок.

Дверь приоткрылась. Сквозь щелку увидел невысокую женщину в цветастом халате.

– Вы кто? – спросила она.

– Из соцзащиты. Прислали. Я вам продукты принёс, – небольшая пауза. – И сделать уборку.

– Заходите.

Снял ботинки. Снял куртку. Размотал шарф. Взял пакеты и прошёл на кухню.

– А что так много? – поинтересовалась женщина, когда я поставил продукты на стол. – Мне раньше приносили меньше.

– Больше выделили денег. Вам больше сказали принести, – как-то нелогично.

– Поставьте это в холодильник. Я немного устала, пойду в кресле посижу, – и вышла.

Сложил продукты.

На батарее нашёл желтый лоскут ткани, намочил его и протёр кухонный гарнитур. В шкафах, на холодильнике пыль протёр. Потом подоконник, пуфик кожаный. Стекла тоже засияли: были мутными. Подмёл растрепанным веником линолеум. Полил цветы на подоконнике. Смахнул пыль с листьев.

Вошёл в комнату.

Женщина сидела около окна и читала изумрудного цвета книгу. Она не подняла глаз, а просто сказала:

– У меня сломался пылесос.

– Где он?

– В шкафу, где зеркало.

Я вытащил новенький LG, открутил крышку. Забит. Большой ком мусора из фильтра – в корзину, сам фильтр промыл под краном. Заработал.

Не торопясь протёр столик. Книги протёр. Прибрал по коробкам бумаги. Расстелил салфетку чистую, грязную – в стирку. Протёр стекло шкафа, заправил диван красивым шахматным покрывалом.

За время уборки женщина ни разу не посмотрела на меня. Она читала книгу, полностью погрузившись в придуманный много лет назад мир. Периодически я поглядывал на неё, пытался хоть как-то обратить на себя внимание: то ронял пульт от телевизора, то статуэтки, то ещё какие-нибудь предметы. Но всё впустую.

В пятом часу закончил уборку в ванной. Коридор подмёл.

Зашёл в комнату. Она читала.

– Как вы себя чувствуете? – спросил я. – Лекарства может вам принести в следующий раз?

Она брезгливо ответила:

– Лекарства? Я не больна.

– Может, какие-нибудь продукты вы хотите?

– Купите мне сигарет. Хочу курить.

– Вы никогда не курили… – не закончив фразы.

– Я не курила? – и только сейчас она посмотрела на меня. – Ещё как курила! И много. Но вы всё равно мне не купите. Поэтому наш разговор окончен, – строго.

Я глубоко вздохнул и так же глубоко выдохнул.

– Мне пора идти. Если что-то понадобится, позвоните в соцзащиту на рабочий телефон, вам пришлют работника. Номер я записал в ваш блокнот.

…она не ответила.

Закрутил шарф. Накинул куртку. Надел ботинки и стал завязывать шнурки. Потом поднялся с невысокой табуретки и обернулся. А женщина рядом. Испугался я. Не ожидал.

– До свидания, – чуть ли не шепотом сказал я и вышел на лестничную клетку.

Женщина за мной.

– А тебя как зовут-то? – догнал меня вопрос.

– Александр.

– До свидания, Александр.

Мама закрыла передо мной дверь.

Лестница

Каждый день она поднималась по лестнице вверх.

….в сороковые, когда родилась. В шестидесятые, когда вышла замуж. В семидесятые, когда впервые в их уютной квартире раздался детский плач. Потом были годы перемен, тяжёлые девяностые, когда на руках были миллионы. Но вот купить что-то не было никакой возможности.

Она пережила Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина… Даже Сталина. Она пережила материнский позор, когда, оббивая пороги отделений милиции, искала своего сына-наркомана. Она пережила своего мужа. Врачи не смогли его спасти.

Сильная женщина.

Вчера, глядя в окно и видя детей у песочницы, она расплакалась. Скромно смахнула слезу носовым платком, что всегда был под рукой. Скомкала его, зажала крепко, будто боялась чьего-то осуждающего взгляда. Испуганно оглянулась тут же. Медленно подошла к зеркалу.

Друг напротив друга. Она полчаса простояла, изучая морщины на лице, редкие седые волосы, потухшие глаза, пока ноги не подкосились. Как когда-то подкашивала жизнь. Судьба. Комком в горле среди ясного дня или мышиной отравой на толстом слайсе сыра. Но она не жаловалась на жизнь, принимала все испытания и была по-человечески счастлива <…>

Сегодня ей исполнилось семьдесят девять.

И утро было тёплым. Вдали виднелись плюшевые облака. Они катились медленно, и в какой-то момент повисли над городом.

– Вот это да! – она восклицала тихо, точно в соседней комнате спал ребёнок.

Но там никого не было. Дверь давно сорвана с петель, а почерневший косяк нет-нет да посыплется немного (старый дом). Она покорно брала на кухне совок и веник, аккуратно подметала, ссыпала известь и штукатурку в бежевое ведро. Выдыхала глубоко. Прятала под раковиной всё и возвращалась в комнату.

На столе, что стоял у стены, она поправляла скатерть, аккуратно перекладывала книги и маленькую розовую балерину из фарфора. Её привез муж из Москвы. Года уже были стёрты из памяти. Но она точно помнила: молодость была повсюду.

– Держи, моя балерина, – он целовал её губы, стоя в проёме входной двери.

Не удержался, попятился назад. Чудом не ударился о дверь, спас подарок.

– Ой, – она лишь вымолвила.

– Вот тебе и «ой», моя балерина, – он поднимался с пола, но улыбался искренне.

– А знаешь, давай я её поставлю на комод, а? Как ты думаешь? – кружилась она.

– На комод? Зачем? Там её не видно будет.

– Тоже верно, – прикусила губу. – А если на стол? Прям на этот? – она подскочила к лакированному столу. Вязаная салфетка посредине, рядом – чайные блюдца, ваза. Лежала плитка шоколада.

– Дети снесут. Вот увидишь. Кранты придёт этому чуду!

– Так… Ну что же делать?

Будто не было выхода.

– Сильно не заморачивайся! Поставь к книжкам… И дети не достанут, и видно.

Так и было сделано. Стояла балерина почти двадцать лет в книжном шкафу. И дальше бы стояла, как призрак прошлого. Как фантом счастья. Но в трудную минуту уже и сил не было сопротивляться. Она доставала балерину и ставила на стол. Потом и вовсе перестала убирать в шкаф. Так и осталась <…>

Так и осталась стоять на столе. Ножка балерины – вбок, пуанты белые. А пачка, почти зефир, никак не опускалась. И диадема на голове. И тоненькие ручки, мелкие с бусинку ушки.

Женщина поставила чайную пару на салфетку, рядом заварник. Принесла кипятка. Залила крупные листья цейлонского чая. И пока он остывал, взяла потрепанный томик Пушкина. Пошуршала страницами и стала декламировать любимые стихи наизусть. Улыбнулась даже. Помнит. Она помнит и Онегина, и осень золотую, и сказки.

В дверь постучали.

Два.

Три раза.

– Иду, – больше для себя произнесла она.

За дверью стояла соседка. В руках у неё были хризантемы, на лице – добрая улыбка.

– С днём рождения, моя дорогая Антонина!

– Спасибо, Валечка. Проходи, проходи.

Антонина засуетилась, проскользила по линолеуму на кухню, достала трёхлитровую банку из шкафа, налила воды и вернулась в комнату.

– А вот и ваза! – патетично произнесла Валентина.

– Какие красивые хризантемы! Где такие растут?

– На даче. Да, милая моя, с дачи тебе везла, – Валентина присела на стул. – Там их в этом году… Ого-го!

– Красивые, – Антонина улыбнулась, и блеск в глазах не дал соврать о радости. – Как давно мне не дарили цветы, – задумчиво, но живо.

– Какие твои годы, милая моя?!

– Ой… Совсем уже старая стала… Сейчас.

Антонина встала и прошла на кухню. Был слышен стук шкафчика. И через мгновение хозяйка возвращалась с чайной парой в одной руке, с вазочками со сладостями – в другой.

– Заварила вкусный чай… Вот. Надеюсь, ещё не остыл. Подольём кипятку… Мёд есть, – Антонина пододвинула пиалу с янтарным лакомством. – Конфеты. Угощайся. И спасибо, что пришла.

Валентина не увидела, как Антонина смахнула слезу. Одну единственную слезу… Горькую до ужаса.

– Как Николай?

– Да вполне себе, – выдохнула Валентина. – Сегодня спускался во двор. Мальчишек гонял, – она улыбнулась. – Я ему помогла одеться. Он ворчал… Ну ты знаешь этих мужчин сильных.

– Конечно, знаю, – Антонина сделала глоток чая. – Старость не даст соврать. Только вчера вспоминала о нашем соседе со второго этажа… Глушков, кажется.

– Который пианист? Был.

– Да. Он самый… Так он же играл, помню, каждый день. Каждый божий день. То Мусоргского, то Рахманинова, то Рубинштейна, то Чайковского… Помню, даже до моей квартиры долетали звуки. По весне, когда окна открыты для воздуха. А потом – тишина. День. Второй. Привыкала долго.

– Люди искусства такие… Ой, да что я тебе говорю! Посмотри на себя, – Валентина перевела взгляд на фарфоровую балерину и воскликнула, – так это же ты! Тоня… Вылетая прям! Какой это год был? Ну, когда ты так могла?

– Да я и не припомню сейчас. Да и нужно ли это вспоминать?

– Как не нужно? Что ты такое говоришь?

Антонина посмотрела на книжный шкаф и на минутку задумалась. Осознала. Подошла к нему и достала серую коробку из-под обуви. Вернулась за стол.

– Ой, мне иногда так больно вспоминать прошлое, – проговорила Антонина. – Почему-то не могу, дрожь какая-то в руках и ногах. Волнение что ли?

– Милая моя, ну разве твоё прошлое не такое прекрасное?

Антонина открыла коробку и достала посеревшие пуанты.

– Вот они, мои. В Большом Театре в них выступала. Рай в аду танцевала.

– Так я и говорю – смотри, какая у тебя память! Ты её можешь подержать в руках, вспомнить.

– Ох, я бы всё отдала сейчас, чтобы ножки мои поднимались выше стула, – засмеялась. – А вот смотри… Реклама.

Антонина достала небольшой выцветший кусочек газеты, где была афиша балета. И фамилия примы. И её партнера.

– Мой дебют, – величественно произнесла она. – Мама плакала, когда увидела меня на сцене. Я её долго успокаивала… А вот ещё смотри, – Антонина достала атласную ленту. – Это мне подарил Гриша, когда познакомились. Я носила эту ленту в волосах. Ветер дул, она в разные стороны. Красивая она. А вот – диадема. Господи, – заблестели глаза, – неужели она сохранилась? Я уже и забыла о ней. Верить ли глазам?

– А ты поверь, – тихо произнесла Валентина.

Ещё были фотографии. Много фотографий.

Ещё был чайник, закипевший на кухне.

Ещё были стихи. Ахматова, Пастернак, Цветаева, Тушнова, Снежина…

Ещё были воспоминания прожитого.

И дождь заморосил спустя час. Гроза обошла стороной. По карнизу мощные капли стучали.

Валентина ушла в полшестого.

Антонина убрала со стола, вымыла посуду. Вошла в комнату. На столе – пуанты, диадема, лента. Коробка и много фотографий. Антонина вздохнула и уверенно прошла к столу. Присела, сняла носки и надела пуанты. Дотянулась до ленты и вплела в волосы. Диадема – сверху.

…Долго стояла Антонина напротив трельяжа. Во весь рост. Во все воспоминания. И както горько стало на душе.

Нитки

Что останется после нас? После этой жизни… Увлекательной. Или не очень. После того момента, когда мы скажем последнее слово. Звук источим. Или сделаем последний вздох.

…Он вышел из крематория.

Тучи гуляли по кругу. Скрывали солнце неумело. Деревья шелестели. В лужах отражалось небо. Трава была матовой.

Он нёс урну с прахом. Своей матери. Задумчиво посмотрел на крышку сосуда и остановился посреди аллеи. Взгляд вправо. Там увидел девушку, которая стояла лицом к огромной стене колумбария. Её губы что-то шептали. Руки скрещены. Его взгляд зацепился за птицу, что сидела на ветке рябины. Потом вспорхнула, перелетела на другую ветку. И так – ещё несколько раз.

Ворота сбоку медленно распахнулись. Заехал катафалк.

Он, прижав урну к себе, попытался одной рукой открыть сумку. Сначала клёпки, потом молния. Разгрёб рукой весь хлам внутри и поместил туда урну. Молния едва сошлась. Как и пути его жизни.

В трамвае было душно. Пекло. Казалось, что лето. Но была осень. Семнадцатое число. Сентябрь.

Он пересел на противоположную сторону, в тень, и тяжело вздохнул.

Кондуктор протянула валидатор.

– Наличкой? – спросила устало, хоть и был только полдень. – Плати или выходи.

Он сунул руку в карман и нащупал мелочь. Протянул ей. Она отсчитала двадцать три рубля и вернула лишнее. Ссыпала в холодную ладонь. Оторвала билет.

Музыкант, зашедший на очередной остановке, был унылым. Он оглядел салон, ударил по струнам гитары и запел что-то грустное и жалостное. Тянул высоко.

Он прижал сумку с урной к себе. Крепко. Но холод был в этих объятиях. Больное равнодушие.

Проехав остановку, он не стерпел мыслей и вышел, как только двери больного трамвая заскрипели.

Ещё два квартала он прошел пешком. Измерил высыхающие лужи. Кроссовки сдались и пустили немного влаги к пяткам.

Он перевел взгляд на дом, отыскал балкон. Ключи оказались на дне сумки. Досада! Пришлось вынуть урну с прахом. На ощупь вцепиться в брелок.

Третий этаж оказался немного выше, чем он мог подумать. Лифт чинили.

Пешком. Одна ступенька за другой.

Тишина квартиры его насторожила. Он снял кроссовки и прошёл в комнату, где не появлялся уже семь лет. Тут ничего не изменилось. Мягкие игрушки так и стояли на спинке дивана, аквариум… пустой так же. Даже дверца книжного шкафа так же была заклеена изолентой.

Он достал из сумки урну и поставил на стол. Сел на стул и задумался.

Звонок телефона оглушил его. От стен квартиры отлетала звуковая волна… В лицо. Он резко обернулся на дверь, пощупал по карманам, но не найдя сотовый, встал. Подошел к сумке.

– Да, – тихо произнёс он.

– Костя, ты где? – спросил женский голос.

– В квартире… У матери.

– Я не смогу сегодня прийти. Если хочешь, разбери вещи. Если нет, завтра приезжай. Мне сегодня некогда… Как прошло?

– Что именно?

– Ну, в этом…

–…крематории.

– Ага, в нём. Как там? Что там?

– Если бы тебе было не всё равно, ты бы пришла.

– Ой, не надо читать мне мораль… Короче, мне надо бежать. Я позвоню.

– Хорошо.

Это была его сестра. В телефоне – «Дура».

Костя прошёл на кухню.

В холодильнике сгнили овощи. Он закрыл дверцу, дошёл до подоконника. Провёл рукой по нему. Ладонь оказалась в пыли. Стянул уголки губ и выдавил из себя что-то похожее на отчаяние.

Стал изучать кухню. Заглядывал в шкафчики, открывал хлебницу. И даже присел на корточки посмотреть, что находится внутри духового шкафа. Нажал на кнопку. Темно. И ничего не работает.

В дверь постучали, и Костя отпрянул назад. Удержался, не упал.

По ту сторону стояла женщина. Костя посмотрел в дверной глазок и увидел милое лицо старушки, косынку на плечах и цветастое платье. В голове был один вопрос – «Зачем?»

В дверь ещё раз постучали. Но Костя так и не открыл. Лишь услышал уходящие шаги и звук закрывающейся двери.

Соседка, подумал Костя. И внутри было одно лишь – равнодушие к ней. Он не просил её ни о чем. Она сама пришла.

В комнату матери Костя долго не мог войти. Закрытая дверь была препоной. Будто он потерял ключи. Будто забыл сочетание цифр от кодового замка. Будто…

Он сделал шаг вперёд. Холодная ручка двери поддалась не сразу. Шуршала. В ней разваливался механизм. Его, видимо, так никто и не починил. Ни отец, которого Костя не помнил. Ни он сам. Давно в этой квартире не было мужчин.

Дверь скрипнула. Отзвук отозвался в мёртвой тишине. Как в дремучем лесу, когда ворон нарушает покой. Жутко.

Кровать была заправлена. Занавески задёрнуты. В воздухе витал запах лекарств, которые мать принимала до своего последнего дня.

Костя прошел до окна и одёрнул занавеску. Тут, кажется, не было солнечного света уже вечность. Всё вокруг ожило. Фотографии на стенах, книги на полках. И даже жёлтая блузка… так и осталась висеть на дверце шкафа. Выглаженная.

Он лёг на кровать. Устремил глаза в потолок и только сейчас увидел рисунок на нём. Он представил, как мать каждый день разглядывала этот кусочек мира и от боли закрывала глаза. Он тоже закрыл. Кровать пахла духами, и Костя резко повернул голову вбок. Он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Кто-то был рядом, смотрел на него. Он встал. Огляделся. Никого.

На тумбочке лежали бумаги. Вся история болезни. Костя посмотрел на диагноз. Слишком много страшных слов, чтобы дочитать его до конца.

Он не знал, что делать. Вдохнув очередную порцию воздуха, он подошёл к шкафу и открыл его. Там аккуратно висели платья матери на плечиках. Костя провёл по ним руками, они встрепенулись. Закачались. Он отошёл на несколько шагов назад. Замер.

Костя редко курил, но пачка дешёвых сигарет всегда лежала в его сумке. Он вытащил одну за фильтр, взглянул на урну с прахом и пошёл на кухню. Искал там спички. Но нашёл зажигалку. Закурил на балконе.

В дверь снова постучали. И Костя даже догадался, кто там стоит.

– Я вас слышу, откройте дверь.

Непотушенная сигарета осталась тлеть на мелкой тарелке, когда Костя открыл дверь.

– Здравствуйте, – сказала женщина, что до этого момента оставалась без внимания. – Я глубоко извиняюсь. Я к вам уже приходила. Вы, видимо, не услышали меня. Я соседка ваша.

– Пойдёмте, – ровно.

Костя прошёл в комнату. Женщина – за ним.

– Примите мои искренние соболезнования. Вы, наверное, сын? – Но, не услышав ответа, продолжила. – Я хорошо знала вашу мать.

«А я её совершенно не знал», – подумал Костя и сказал:

– Наверное.

Наступила неуютная тишина. Но женщина ворвалась своим междометием.

– Ох…

– Я не знаю, что делать с её вещами, – сказал Костя и посмотрел на свои руки.

– Отдайте на благотворительность. Она этого сама хотела. Говорила.

Дальше разговор не мог продолжаться. Костя извинился, что не в состоянии сейчас вымолвить и слова. И женщина, уходя, лишь добавила:

– Если нужна будет помощь, стучите в квартиру напротив.

И снова тишина.

И лишь сейчас Костя понял, насколько она ужасна.

Возможно, он жалел о многом. Но боялся признаться себе, оглядываясь назад. Боялся быть жалким в отражении зеркала. И беспомощным. Как в эту минуту.

Костя опустился на пол, закрыл лицо руками. И закачал головой.

Ту ночь он вспоминал часто. Это был его кошмар. Точка невозврата. День, когда жизнь разделилась на «до» и «после». Как бы тривиально это ни звучало.

Ему едва исполнилось восемнадцать. Он успешно откосил от армии, провалил экзамены в ПУ. И стал вести ту жизнь, о которой мечтал: свободную, безграничную. Запретов уже не было. Совершеннолетие ударило в голову. Понеслась череда событий, которые в этом возрасте кажутся баловством.

Детская площадка за пятым домом на улице Ленина превратилась в пятачок, где таких, как Костя, было ещё несколько человек. Десяток. Они собирались у бетонной плиты, пили пиво, курили. Спорили и мечтали. О крутых тачках, о борсетке с крупной суммой денег… О девочках, которые сошли с обложек журналов.

До ночи было далеко. И в тот вечер они провожали в армию Грека. Было много палёного спирта. Колбаса, сосиски. Музыку включили на телефоне. Подъехали девчонки в коротких юбках.

…лето было.

Желали Греку стать мужиком, если уж на гражданке не получилось. Смеялись. Шутки были разными. Пошлыми. Понимали и не понимали. Злились друг на друга. Но потом – мирились и выпивали ещё по одному стакану.

Темнело долго. И почти к началу нового дня Костя, спотыкаясь, поднялся на третий этаж своего дома. Дверь была открыта. Костя понял, что мать ещё не спит.

Он аккуратно снял обувь, чуть не упал. Облокотился на стену.

Мать услышала звуки и вышла из кухни. Встала в проёме двери.

– Опять? – равнодушно произнесла она.

– Молчи, – злобно выдавил слово.

– Тебе восемнадцать, а у тебя ничего не получится уже.

– Ты будешь читать мне мораль? – Костя выпрямился, прижался к стене.

– Ты поймешь позже…

– Что пойму? Ну… Объясни свои слова.

– Что ты не нужен этому миру такой.

– Хоспади! Что за мысли? Из твоих любовных романов? Сколько можно читать их?

– Даже если это так, то ничего не изменится. Ты ни одной книги не прочитал…

– Ну как воспитала!

– Не смей… Не смей мне говорить такие слова, щенок!

– А то… Что? – он будто вырывал каждое слово из себя. – Ты меня ударишь? Ремнем? Или денег карманных не дашь? Что ты мне можешь сделать? – выкрикивал Костя.

– Ничего… Ты – ничего и ничто, если опустился ниже своего отца.

Мать знала, что такое говорить нельзя. Особенно пьяному. Особенно сыну. Особенно сейчас, в тот момент, когда он слишком слаб. Когда не ручается за себя. Когда мог сделать всё, что угодно. Но она сказала. Это её камень, который упал даже не с плеч… С головы – запасной вариант, чтобы идти ко дну.

– Повтори, что ты сказала, – он подошёл вплотную к матери. – Повтори! – он закричал во все горло.

У неё затряслись руки. Ноги не слушались, и она упала на пуфик.

– Я тебя ненавижу! – злостно произнёс Костя.

– Если ты не перестанешь пить, завтра можешь собирать вещи. Я не потерплю ещё одного отца…

Она не успела договорить. Костя спокойно произнёс:

– Прямо сейчас.

Потом он будет жалеть, что не дослушал.

Гордость. Какая нелепая гордость. И мать.

В комнате он достал со шкафа сумку, скидал вещи, плеер. Ещё вещи. И ушёл, хлопнув дверью.

Ушёл на семь лет.

Через день. Через неделю. Он не смог простить мать. Простить себя. И даже через месяц… Это была язва, неоперабельная опухоль. Будто клубки ниток запрыгали по полу, перевязались друг с другом. Пытались тянуться. Рваться. Душить.

Он жил у друзей, у подруг. Были дни, когда он ночевал на вокзале. Курил сигареты с бомжами. И даже мысли не было вернуться домой. Простить мать. Простить себя. Виноватого. Но даже не раскаявшегося.

Семь лет пустоты.

…как и сейчас. На полу. Посреди комнаты, где до сих пор слышен аромат духов матери.

Он поднял голову, взглянул в окно. День заканчивался. Как и каждый день. Но как начать жить заново? Как начать новую жизнь, когда от прошлого ничего не осталось? Лишь урна с прахом.

Вновь

Господи, дай мне силы. Дай мне ещё один светлый день. И здоровья дай. И проснуться утром дай.

Лариса выключила свет в магазине. Нащупала ручку двери. Навалилась всем телом.

Она работала флористом. И сегодня ей пришлось закрывать магазин одной: коллега отпросилась ещё утром.

Вывеска засияла яркими цветами. Сигнализация была включена.

Почти одиннадцать.

Последний автобус Лариса проводила грустным взглядом. Машин не было. Да и людей на улице. Лишь фонари горели, белые мухи кружились.

Крахмал хрустел под ногами. А до дома – ещё шесть остановок. В тишине, в мыслях и какой-то обиде. На себя. На то, что происходит. На то, что будущее без красок. Лариса взбодрилась, когда услышала сирены скорой помощи. Тут же прибавила шаг. Еще одна остановка.

Приложив домофонный пятачок, Лариса открыла дверь. Зашла в подъезд. Нажала кнопку вызова лифта, но не стала ждать. Поднялась на четвёртый этаж пешком. Силы были.

В квартире тихо, свет горел только в коридоре. Она зашла на кухню, включила чайник и присела на мягкий стул. Осмотрела стены, будто в первый раз их видит. Сняла кофту, кинула на пол.

Чайник вскипел. Лариса встала со стула и прошла в коридор. Дошла до двери сына. Приоткрыла. Четырехлетний Валерка спал. В соседней комнате спала мама Ларисы. Телевизор шёл. Кино какое-то.

Лариса выпила кружку чая. Немного прибралась в кухне, в комнате Валерки. Подмела коридор. Тихо, боясь разбудить. Прибралась в ванной комнате. Помыла пол.

Второй час был, когда Лариса вновь вошла в комнату к Валерке. Она поцеловала его в лобик, поправила одеяло и прилегла рядом. Валерка перевернулся на правый бок, прижался к маме. Засопел. Лариса приподняла голову, нащупала небольшую мягкую игрушку, Лося, с которым всё время засыпал сын, и подложила себе под голову. Так и заснула.

Проснулась, когда светало. Мама Ларисы уже приготовила завтрак.

– Поздно пришла? – спросила Людмила у своей дочери.

– До полуночи. Убралась немного. Уснула с Валериком.

– Я заглянула, будить не стала.

– Налей мне чая. Есть не хочу, – она посмотрела в окно. – Надо заплатить за свет сегодня, там почти полторы тысячи, – она говорила это себе. Правда, вслух.

Лариса снова зашла в комнату к сыну. Он ещё спал. Поцеловала. Поправила одеяло.

Дверь подъезда распахнулась. Свежий воздух ударил в голову.

Господи, дай мне силы. Дай мне еще один светлый день. И здоровья дай. И завершить этот день хорошо мне дай.

Кусочек картона

Я проснулся рано. Без будильника.

Тянулся долго и лениво. Разглядывал потолок. Взгляд в окно – моросил дождь.

Накинул футболку, отыскал штаны под стулом. Заправил кровать. Потом собрал игрушки младшего брата, перебрал свои грифельные карандаши. Сложил вещи.

Непримечательная суббота. Апрель был.

Ближе к обеду тучи уплыли к горам, выглянуло солнце. Даже заголосили птицы. И стало ясно: день будет хорошим.

По ещё мокрой траве я добежал до гаража, где из почтового ящика вытянул субботний номер газеты и несколько писем. Бегло пробежался по адресатам.

– Что нового? – спросил отец, открыв дверь гаража.

– Да ничего интересно.

– Относи. Завтракай. Надо будет мусор увезти из ограды на свалку.

На завтрак омлет, чай, небольшой кусочек хлеба с вишневым джемом. Несколько конфет. Второй стакан чая. Пить хотелось ужасно.

Накормив Рекса, нашу дворнягу, я пошёл в гараж. Пока отец оттирал руки от машинного масла, я взялся разбирать старый телевизор, который не поддавался мне уже неделю. Меня интересовали медные катушки, из которых я делал небольшие моторчики для своего главного изобретения – модели корабля.

Крутил, вертел. Гайка отскочила. Потрескался короб. Не ударить бы по кинескопу, а то ещё взорвется! Как это было недавно в шалаше. Вот мы испугались. Да так рвануло, что осколки собирали ещё дня два.

Отец сказал мне:

– Да брось ты его! Займись полезным чем-нить… Пошли, я сейчас подгоню прицеп.

Старая «Копейка» с прицепом стояла у ограды. Пришлось даже снять одно звено забора. Так было проще.

– Мешки бери, грузи. Я за лопатой.

Пока отца не было, я успел скидать все мешки. И даже короб от сгоревшего холодильника заволок, пыхтя. Потом мы загрузили ещё большой целлофановый пакет мусора и два пятнадцатилитровых ведра. Сбоку лежала кучка сгнившей травы с листвой.

Машина ворчала, тяжело хрипя. Отец, будто уговаривая, гладил замшевый руль, отчего «Копейка» издавала рвано-рычащий звук, но продолжала двигаться.

Полевая дорога, дорога на свалку, была почти ровная, даже ровнее асфальта, который работники ДРСУ укладывали пьяные.

Григорий, мы его называли «Королем свалки», он всегда рылся в привезённых кучках мусора, уже ожидал очередную машину. Он всегда прислонялся к бетонному столбу, левой рукой обхватывал живот, а правая была всегда в кармане.

– Чего привезли? – поинтересовался Григорий.

– Мусор, если вам угодно, Король! – я даже заулыбался от своего ответа.

Отец развернулся. Подъехал к гречневой шелухе и остановился. Открыл борта прицепа и стал разгружать. Я помог ему, оттащил несколько мешков.

Григорий смотрел на дорогу. Ожидал ещё машину. Но никого не было.

– Что нового? – спросил отец у Григория, и тот начала рассказывать о своих находках.

Григорий жестикулировал. Громко объяснял, зачем ему барабан от центрифуги, старые пленки и утюги. Отец внимательно слушал, кивал ему.

В двадцати метрах (может, больше) от меня дымились картонные коробки. Чуть дальше – чёрные птицы клевали мешки, будто падаль раздирая. Ещё вокруг было много стеклянных бутылок, шифера. Даже сломанные игрушки торчали из мусора.

Я посмотрел на отца и медленно пошёл к карьеру, куда сваливали гречневую шелуху. Но, не дойдя до него несколько метров, глаза мои наткнулись на нечто дорогое сердцу.

…обожженные, но совсем как новые, разбросанные среди коробок из-под чая, лежали старые, пожелтевшие от времени фотокарточки. Нет, это вовсе не те фотографии, которые делают в нашем Доме культуры сотнями и тысячами. Это фотокарточки с красивыми резными виньетками, напечатанные бессмертной краской.

Легкий ветерок аккуратно подбрасывал эти предметы старины, играл с ними, переворачивал. Женщины в длинных платьях, с причёсками, которые сейчас вряд ли делают, сидят, стоят рядом со своими мужьями в чёрных фраках. А дети – в белых одеяниях рядом. Ещё на одной фотокарточке запечатлен огромный дом с резными окнами и коньками. Я никогда не видел таких строений. Тем более окон, тем более – сейчас.

Я остановился. Посмотрел по сторонам. Немного заволновался от чего-то. Возможно, боялся увидеть… И увидел.

Ветер, будто специально, перевернул одну небольшую фотокарточку у меня под ногами. Я нагнулся и поднял её. На ней – молодая красивая женщина лет двадцати пяти, с тёмными глазами, тонкими губами и миленьким носиком. Я долго смотрел ей в глаза. Потом перевернул этот кусочек картона. В верхнем углу было написано – «На долгую память моему любимому генералу. 17 августа 1949 год».

Не выбрасывайте фотографии. Никогда.

Телескоп

На шестилетие дедушка подарил мне телескоп. Красивый, блестящий телескоп в лаковом футляре. С ним я ходил по дому, показывая тем, кто ещё не видел мой подарок. Но видели все: мама, папа, бабушка, старшая сестра. И даже мой кот Дрын.

С Дрыном мы часами могли разглядывать это изобретение. Я всегда садился около окна, кот – напротив меня, а блестящий футляр ставил посередине. Открывал его, крышка принимала вертикальное положение, загораживая обзор коту. Тогда Дрын лениво шёл ко мне, взбирался на колени, и мы уже с ним вместе планировали совершать астрономические открытия.

Каждый вечер мы смотрели на звёзды. Я, дедушка и Дрын. Мы выходили в сад, ставили фанерный ящик, обязательно на него стелили газету, а уж только потом ставили телескоп. Сначала дедушка смотрел. Хотя он не просто смотрел, а крутил какие-то колесики. Настраивал.

Я никогда не забуду июньскую ночь 97-го года. В эту ночь я впервые посмотрел в стеклышко телескопа. Боже. Какая красота! Какие красивые звёзды! И они вовсе не пятиконечные. И их вовсе не двадцать семь, что помещались у меня на альбомном листе. Их миллионы. Помню, что даже Дрыну понравилось, когда я посадил его на ящик и аккуратно пододвинул к телескопу.

– Спать пора, завтра посмотришь, – говорил дедушка, вытряхивая из тапочек траву.

– Ещё немного, – умолял я.

Дедушка уходил к себе в комнату, а мы с Дрыном оставались. Смотрели. Наблюдали. Дышали чистым ночным воздухом гор. А потом, аккуратно положив телескоп в футляр, я тоже уходил спать. Дрын оставался сидеть на ящике. Наверное, так и сидел всю ночь, наблюдая за звездами.

На следующее утро я проснулся рано. Первым делом проверил телескоп, потом взглянул в окно: шёл дождь. Тоска подступила ко мне. Сегодня не увижу я звезд.

…Дождь прекратился. Появилась надежда. Но тучи не собирались уходить. А я всё заглядывал и заглядывал в окно. Вдруг они исчезнут? Нет.

Спустя неделю, бегая во дворе за Дрыном, я увидел у соседа точно такой же футляр, как и у меня. Я испугался. Я очень сильно испугался. А вдруг он украл мой телескоп? Мигом в дом. Запыхавшись, залез под кровать, чтобы убедиться, там ли мое чудо техники. Там! Выдохнул. Значит у него просто такой же футляр. Не перепутать бы!

И тут на ум мне пришла идея. В маминой комнате я нашёл цыганскую иголку, длинную и толстую иголку. Аккуратно достал из чемоданчика телескоп, поставил его на стол, обложил книгами, чтобы Дрын не смог его свалить. Потом я перевернул футляр и в правом верхнем углу выцарапал иголкой первую букву своего имени. Теперь-то уж точно я был уверен, что не перепутаю свой ларчик.

<…>

Я продолжал познавать мир звёзд, мир созвездий и планет. По вечерам я ждал ночи, а ночью, ложась спать, я ждал утра, чтобы утром вновь ждать ночи.

За несколько дней мы с дедушкой нарисовали огромную карту звёздного неба на куске обоев. Это было моё небо, небо моего детства. Оно стояло в углу, свернутое в трубочку. И когда за окном было пасмурно, я раскручивал бумагу на полу, края прижимал томами Толстого, и мы на пару с Дрыном разглядывали бусинки.

– Вот это астрономия, Дрын!

Я был увлечен телескопом. Небом.

Стояла отличная погода. И в один из дней я не вспомнил, что оставил свое небо на улице под яблоней. А ночью прошёл дождь и смыл мои звёзды. Я плакал. Я плакал минут десять, стоя около куска разбухших обоев.

– Эй, ты чего? – увидел меня дедушка. – Мы ещё с тобой нарисуем сто мильонов неб! Неси обои, я пошёл чинить карандаши.

Мы нарисовали. Конечно, не сто мильонов. Меньше. Гораздо меньше.

<…>

Это было вчера.

Я залез на чердак. И только вдохнув тяжёлый воздух, понял: как давно я здесь не был. Ностальгия прошлого одурманила меня, и я стал разглядывать вещи, которые получили тут прописку. В одной из коробок увидел свой футляр. Да, тот самый футляр, где в верхнем правом углу выцарапана иголкой буква «Д». Я радовался. Как ребёнок. Улыбался.

Естественно, с чердака я вернулся с телескопом. Открыл, увидел своё сокровище детства. Протёр салфеткой и поставил его на стол. В ожидании вечера.

…и стемнело. И как будто специально для меня – небо. Звёзды. Я долго смотрел в уже маленькое для меня стёклышко, разглядывая «Большую Медведицу». Потом ещё созвездия, ещё звёзды. Потом ещё и ещё.

Рядом не было Дрына: он убежал из дома, когда мне было девять. Рядом не было дедушки: он умер семнадцать лет назад. Но я вновь глядел в телескоп, и почему-то казалось, что мне снова шесть лет, что рядом Дрын трётся мне об ногу и дедушка в своих заштопанных тапочках наблюдает за звездным небом.

Я огляделся по сторонам.

Никого.

Любит – не любит. Любит

Меня не было двенадцать лет. В этих краях.

…Сначала дикое желание попробовать эту жизнь на вкус: переехать в город. Почувствовать бесконечную свободу. Учёба несколько месяцев, потом отчисление из университета. Армия. Там вправили мозги, и я остался служить по контракту. Пять лет. Служба в горячих точках.

Выдохся. Мне нужно домой. На малую родину.

По газам.

Мотор зарычал.

Мчусь по полевой. В зеркале заднего вида – лишь пыль. На спидометре почти девяносто. Окна открыты, и ветер треплет мне волосы. Издевается надо мной.

До лесополосы. А там – на гравийную дорогу. Снизил скорость. Еду медленно. Успеваю смотреть по сторонам.

Ещё минут десять и – подъезжаю к сельцу. Но на перекрёсте сворачиваю налево, туда, где горы. Родные просторы. Спускаюсь по накатанной. Минут пять. И тут… Огромное поле ромашек.

Выхожу из машины. Иду вперёд. Руками глажу цветы. Срываю ромашку. Пытаюсь, как в детстве погадать: «любит – не любит».

– Любит! – на последнем лепестке.

Падаю на спину. На этот ковёр. Мягко. Очень мягко.

Смотрю в небо.

Закрываю глаза.

<…>

Мне было тринадцать. Я – худенький школьник с рюкзаком на плечах. Постоянно растрёпанные волосы. Шнурки кроссовок будто мстят: сто метров – присаживаюсь, ещё сто – опять… От этого у меня появилось прозвище «кузнечик».

…Так уж вышло, что моя память не стёрла воспоминания о моей первой любви. Громко сказано, но – да: любви настоящей, которая казалась мне первой и последней.

Она училась на класс старше меня. Её звали Наташа. До сих пор помню это детское розовое лицо, светлые глаза и аккуратный носик. Волосы до лопаток… И голос. Что-то прекрасное и настоящее в нём было. Как и мои чувства.

Вся школа знала, что я её люблю, что она любит меня. По-детски и наивно мы признались в чувствах одновременно. Помню тот момент.

Мы по вечерам гуляли – так неумело и так просто. Я рассказывал ей несмешные анекдоты, а она смеялась. Наверное, всё-таки были смешными?

Иногда мы держались за руки. Волнительно. Внутри всё переворачивалось. Я ощущал её пульс, её легкое дыхание. И мне казалось это блаженным. Ради неё я выучил нелепый французский стих. Смеялись каждый раз, когда его читал. Единственное, что у меня получалось из всего стихотворения, – картавить. Будто в Париже прожил всю жизнь!

Двадцать третьего июля у Наташи был день рождения.

Душно и жарко. Я снял с себя футболку и прополоскал её под колонкой. Отжал, натянул на себя. Руки покрылись гусиной кожей, от спины – будто пар.

Я встретил Наташу у моста. Часа четыре, наверное, было. Поздравил. Было волнительно: сложно контролировать чувства в таком возрасте.

– А у меня есть подарок, – смущённо произнёс я.

Она ничего не ответила, лишь улыбнулась и посмотрела на меня.

– Пойдём. Только нам нужно дойти до одного места, – продолжил.

До крайней улицы сельца мы дошли быстро. Потом на перекрёстке свернули к конюшням. Пошли в сторону реки. Обогнули болото дальше, начали спускаться по накатанным горкам.

…и ещё полчаса.

Из оврага – вверх, к солнцу, которое уже равнодушно грело. Несколько шагов до рубежа. Наташа замерла.

Впереди было целое поле ромашек. Бесконечное множество шляпок болтались влево и вправо. Будто пели песни – хор целый. Наташа посмотрела на меня, потом опять на поле, потом снова на меня.

Мы прошли несколько метров вперёд. Ромашки кланялись нам от легкого дуновения ветра. Будто ожидали нас, будто рады видеть далёких путников.

– Я хочу подарить тебе поле ромашек! – выдавил.

Во рту всё пересохло. Я прикусил нижнюю губу.

Она улыбнулась, посмотрела на горизонт и мигом – от меня. В поле, к ромашкам. Казалось, что она вот-вот ворвётся в облако, лёгкое летнее облако.

Я стоял на месте, опустив руки, и смотрел вперёд. Уже и не помню чувств, но, кажется, было хорошо. Даже улыбался искренне. Крикнул вслед:

– Это всё тебе!

Солнце было упоительным. Не жгло. Я сделал несколько шагов. Дошёл до Наташи. Она неуклюже поцеловала меня в щёчку. Мило.

– Спасибо, – вымолвила. – Пойдём, – она взяла меня за руку, и мы вместе пошагали по полю. А потом…

Она упала на цветочный ковёр. Так красиво! Так естественно и нисколечко не наигранно. Я – следом.

Мы смотрели на облака – такие творожные и очень лёгкие. Они медленно плыли над нами. И казалось, что протяни к ним руку, и узор изменится. Я почему-то хотел волка. Наташа – бабочку.

Лёжа, мы срывали ромашки и подбрасывали вверх. Смеялись. Смотрели друг на друга, повернув головы: я вправо, она влево. А потом гадали «любит – не любит». Хотя нет, у нас было множество вариантов: «поедет – не поедет», «будет – не будет», «купит – не купит».

Мы провалялись в ромашках почти час. Разговаривали. Строили планы на будущее. Мечтали о совместных мечтах.

Но солнце уже съедали горы. Нам нужно было возвращаться.

И перед тем, как уйти, я нарвал огромную охапку цветов. Сотня – не меньше. Мои руки были зелёными, пахли травой, а ромашки валились на землю: вот сколько их было! Я дотянулся до длинного стебля, сорвал и перевязал. Букет.

Наташа довольная. Счастливая. Я – ещё больше. Как сейчас помню. Жаль, что мы не смогли целое поле с собой унести. Нагадали бы всему сельцу!

<…>

Я открыл глаза.

Всё те же облака – как из детства. Всё тот же запах – сводящий с ума. Но кроме меня никого не было за несколько вёрст. Я повернул голову вправо. Влево. Бабочки порхали.

Я сел. Поджал ноги под себя. Сорвал ромашку. Стал гадать.

– Счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, СЧАСТЬЕ.

Расписка

Мы остались одни – я и Костя. Остальные ушли встречать рассвет на берег Каменки. Большой костёр обещали разжечь там, спеть под гитару гимн нашей школы. Вова, из параллельного класса, специально купил новые струны: прощальная песня должна звучать по-новому.

…Над головой проглядывались звёзды, но свет от ещё не показавшегося на горизонте солнца уже долетал до нас. Пахло свежестью. Дул лёгкий ветерок. Он был теплый, ласкал мою юбку и воротник белой блузы.

Костя сидел рядом на скамейке. Он был нетрезв (где-то с Жоркой выпили пива, пока учителя танцевали), но активно рассказывал мне о своей будущей жизни.

– Катюх, всё просто: армия, а потом училище, – говорил мне. – Сначала мужик, а потом мозги, – он был неубедителен, но что ответить ему, если у него такие мысли?

– В городе будешь учиться? – я взглянула ему в глаза. Карие.

– Конечно, тут в шараге нет никакого смысла. Там автомехаников учат знаешь как?!

– Не знаю. Я в этом не разбираюсь.

– Ну, там всё предоставляют. Новые машины, умные учителя. Всё как положено, а не как тут.

– А потом вернёшься сюда?

– Как жизнь покажет. Конечно, хотелось бы там остаться. Но квартиру снимать, отдавать ползарплаты… – он встал со скамьи и начал ходить туда-сюда, продолжая «загибать пальцы на минусах жизни в городе».

Я не вытерпела и тихо произнесла:

– У меня уже голова болит, перестань ходить.

Он нахмурил брови и кинул на меня лёгкое презрение. Остановился около меня и присел на корточки.

– А ты куда? Смотри, коты дерутся, – он подскочил и уставился на школьный забор. Засмеялся. – Интересно, кто кого? Рыжий или чёрный? Твои ставки…

– Я хочу научиться шить. Ателье хочу своё.

– Так ему! Так ему! Боже, тупые животные, – Костя стал боксировать. Но, прыгнув на месте пару раз, остановился. – Чё говоришь?

– Говорю, хочу научиться шить. Ателье хочу своё.

– Аааааа, – размашисто. – Типа штаны шить, платья?

– Да, мне очень нравится. У меня несколько альбомов эскизов уже. Сама рисовала.

Эти слова я произнесла с гордостью. Даже Вера Павловна, учительница труда, похвалила меня на сцене Дома культуры, когда вручали аттестаты. Сказала, что из меня выйдет хорошая швея, что я ещё прославлю нашу школу.

– В город что ли не поедешь? – Костя высматривал, какой из котов оказался победителем. – Там же лучше… Там, это… Ну там научат лучше. Рыжий! Я так и знал, что рыжий победит, – улыбался он.

– Не знаю, я там не была ни разу.

– Какие твои годы?!

– А ты когда женишься? – я украдкой посмотрела на Костю, даже не ожидая ответа.

– Ну… как схожу в армию, потом отучусь, потом найду работу и потом уже женитьба. А ты? Когда?

– А меня никто не возьмёт, – печально выдохнула я.

– Как это не возьмёт?

Он приподнял брови и слегка повернул голову вправо.

– Мне никто не нравится, – я не могла смотреть ему в глаза.

– Ой, нашла переживания! Не нравится, не нравится… Ты вон видела Светку? Нашу. За ней, – он подсел рядом и тихо заговорил, – за ней Владик ухаживает. Ага. А ты видела, какой он крутой? У него новый мотоцикл… Ты только не говори никому. Лады?

Я ничего не ответила, лишь спросила:

– А вдруг я не выйду замуж?

– Выйдешь. А если не выйдешь, с тобой сыграем свадьбу!

– Правда? – я даже улыбнулась в тот момент.

Костя был хорошим парнем, его уважали. В школе учился на четыре, иногда были тройки, но не из-за того, что он не знал предмет. Нет. Просто иногда он был ленивым, мог несколько дней не ходить на уроки.

– Чесслово! Зуб даю.

– Что-то мне не верится, – я начала кокетничать.

– Хочешь, я напишу расписку? – он пододвинулся ко мне ближе, и я почувствовала тепло от его ноги. Он заметил это и – сразу отодвинулся, и продолжил. – Что такого-то года, такого-то числа мы сыграем свадьбу. Тебе будет столько-то лет, мне столько-то!

– Давай, записывай. Мне будет двадцать семь, а тебе двадцать восемь.

– Куда записывать? – щупая карманы.

– На листочек.

– Так у меня его нет.

– Ладно. Найдем! Давай тогда обговорим нашу расписку, – я сделала серьёзный тон лица и задала глупый вопрос. – А ты мне изменять будешь?

– Я? – Костя даже удивился. – Нет, конечно. Я буду тебя любить, дарить цветы. Какие ты там…

– Ромашки.

– Ромашки дарить буду.

– А дом у нас будет большой?

– Большой. В три комнаты. Будет пристройка ещё к дому, там гараж и большой загон для коровы и поросят.

– Ух ты! – улыбалась я и хлопала в ладоши. – Ещё хочу сад, где будут вишни расти и яблоки. Ранетки. А когда нам будет… Эх, – тут я начала перебирать на пальцах, – тридцать шесть мне и тридцать семь тебе, то этот урожай пойдет на базар, будем бизнес делать с тобой сезонный.

– А ещё куплю машину. Ладу. Белую, – Костя подскочил и опять начал ходить туда-сюда. – И спутниковую тарелку поставлю на наш дом. Будем смотреть иностранные каналы.

– На китайском что ли?

– Каком китайском? Не говори ерунды! На немецком будем алёкать и английском.

– Ты будешь переводить, я с языками не дружу.

– Договорились. Так, о чем мы ещё не договорились?

– Раз в год в отпуск будем летать в Узбекистан.

– Куда? Уз… что?

– …бекистан. Страна такая. Ты ж вроде бы с географией дружишь.

– Дружу. С Африкой дружу. Европой. Еще Австралией. А по твоим Убзекистанам не мотаюсь. Не солидно!

– Деловая колбаса, придумаем, – оглядевшись по сторонам. Послышались голоса взрослых. – А обои какого цвета у нас будут в кухне?

– Обоооооои? Чё? – он даже заикнулся.

– На кухне. Какого цвета обои будут? Ну на стенах… – я не знала, как объяснить ещё.

– Ааа. Ну ты это, сама там будешь разбираться. Возьмешь Олю и пойдёте.

– И за грибами будем ездить.

– И за ними тоже.

…И вдруг пауза. И вдруг тишина. Страшная тишина для рассвета. Ни птицы, ни звери, ни люди. Я даже испугалась, но где-то вдалеке залаяли собаки.

– А это… детей-то будем делать? – спросил Костя.

– Сначала женись, а потом про детей говори, – я по-детски надула губы и скрестила руки.

– Ой, недотрога, недослушка. Не знаю, как ты, но я хочу двух пацанов. Кирилла и Диму. Если ты захочешь девочку, можешь сама рожать. Ирой назовем.

Я засмеялась.

– Костя, какую ерунду ты несёшь!

Он отошёл на несколько метров от меня, сгорбился, выставил руки вперёд и будто что-то тяжёлое представил перед собой. Пошёл в мою сторону.

– Ты что делаешь?

– Несу.

– Что?

– Ерунду.

И как давай заливаться смехом! А я вместе с ним.

Успокоившись, я спросила:

– А разве так бывает?

– Как – так?

– Ну, что я и ты… После школы разлетимся по разным городам или деревням… А потом встретимся, поженимся?

– Мне кажется, бывает, – он задумчиво посмотрел на меня. – Жизнь по-разному складывается. Так почему такого не может быть?

– А вдруг? – выдавила я.

<…>

Костя ушёл в армию. После года службы поступил в училище на автомеханика. Даже участвовал в конкурсе «Лучший по профессии». Третье место занял, что весьма неплохо.

По окончании получил диплом, вернулся в деревню, устроился в колхоз. Без него ни одна посевная не обходилась.

Мы виделись с ним редко.

Я переехала в город, открыла ателье. Мне было двадцать шесть, а с мужчинами у меня никак не вязалось. То ли я сама себе напророчила? О расписке я помнила всегда, и почти каждый раз, когда моя подруга Людмила приезжала в город, я спрашивала о Косте.

– Как он? Чем занимается? Не женился ли?

Она в шутку говорила:

– Тебя ждёт. Когда тебе будет двадцать семь.

А я чувствовала, что буду его женой. И всё так же будет, как мы планировали.

…Но в один из дней мне сказали, что Костя разбился. Напился, сел на мотоцикл и улетел в кювет.

Иногда я думаю, а напиши он ту расписку на бумаге, пожил бы ещё.

Яблоки

Ветра не было, а яблоки падали.

Падали восемнадцать лет назад в колхозном саду, когда мы с Наташкой сидели под самым большим деревом. Я грыз червивое, но спелое яблоко, а она с каждым моим укусом произносила:

– Сейчас голову червяку отгрызешь!

– Да не боись, я уже сто тысяч их съел и ни одного червяка не проглотил, – отвечал я, поглядывая на неё.

– Сто тысяч?

– Да, именно столько. Это, – я вытянул руку вперёд и начал загибать пальцы, – вот раз, десять, сто, тыща, миллион…

– Ты же сказал, что сто тысяч. Причем тут миллион?

– Глупая ты, Наташка. Из ста тысяч миллион получается. Вот смотри – один сто тысяч, два сто тысяч, три сто тысяч… – выдохнул, – четыре сто тысяч, ещё шесть сто тысяч и будет миллион тысяч.

– Тысяча тысяч. Это миллион, – она была права.

– Тысяча тысяч? Разве так можно? Нет, не можно.

– Дурёха, – она улыбнулась и продолжила, – вырастешь и поймёшь.

– Да я итак взрослый. Мне уже восемь!

– А мне девять. И ты считать не умеешь. Не быть тебе бухгалтером.

– Да и не хотелось…

Скрип калитки заставил нас замолчать. Показалось, замолчал весь сад – деревья, насекомые и даже глупые вороны. На какое-то мгновение даже яблоки перестали падать. Мы прислушались. Калитка снова заскрипела. В голове понимание – сторож Василий Чечушков начал обходить свои владения.

Мы испугались. Переглянулись, и я шёпотом сказал:

– Если он нас увидит, башку открутит.

О Чечушкове ходили легенды. Одни уверяли, что он сам чёрт – прихрамывал на одну ногу, чёрного пса постоянно с собой водил; другие говорили, что он сошёл с ума после смерти жены; а вот третьи ничего не говорили, они просто его боялись. Еще бы – почти слепой дед (Василию Ивановичу было почти восемьдесят), с ружьём в руках.

Он как-то весной пытался распугать ворон, когда огороды пахали. Как начал стрелять солью! Да по трактору. Пахарь остановился, выпрыгнул из кабины и заорал на деда:

– Ты что с ума сошел, старик треклятый?! Вообще что ли из ума выжил?!

…Мы проползли вдоль забора. А он, зараза, был таким высоким, что без помощи лестницы его никак не осилить. Но она стояла на другом конце сада.

– Чё делать будем? – спросил я.

– Надо спрятаться. На дереве.

Хуже идеи не могло и прийти в голову.

Мы засеменили назад. Подползли к высокой и пухлой яблоне. Я огляделся и дал Наташке последние указания:

– Аккуратно лезь почти до макушки. Вставай мне на плечи и залазий, – я присел у дерева на корточки, обхватив ствол руками.

Мелкая Наташка, будто кошка, – по стволу, руками за ветки. И тихо.

Я огляделся ещё раз и стал сам подтягиваться на яблоню. В ещё густой листве Наташку было сложно разглядеть. Я рывками подтягивал себя всё выше и выше. От этого дерево дро-

жало. Будто судороги случились. Яблоки падали. Одно за другим. Одно за другим. Метров пять от земли было, когда я остановился.

– Сидим тихо. Василий слепой, пройдёт мимо и нас не заметит. Потом слезем и убежим.

– Хорошо, – шёпотом.

Мы просидели минут двадцать. Может, чуть больше. Я поглядывал на Наташку, говорил, чтобы она держалась крепче. А внутри – настоящее озорство, мысли лёгкого преступления. Но коленки не дрожали.

– Давай слезай оттуда!

Я окаменел, когда под собой услышал голос сторожа.

– Слезай с дерева, пока я солью тебя не сшиб!

Мне показалось, что я будто падаю с дерева, ударяюсь о землю. И лежу на ней. Потом резко выдохнул и тихо произнёс:

– Ты, это. Сиди тут, – проглотил слюну, – я спущусь один. Чтобы, это, тебя не увидел.

– Считаю до десяти. Если не слезешь, будешь падать. Раз…

Я начал спускаться. Ветки затряслись. Ещё несколько яблок упало на землю, издав глухие звуки.

– Чего тут делаешь, молокосос? – он схватил меня за ухо.

– Ай, больной! – завопил я.

– Я спрашиваю, чего делаешь на колхозной территории?

Его ружье было в правой руке, ухо он крутил мне левой. Я уже мысленно попрощался с жизнью, подумал, что сейчас произойдёт выстрел, я упаду на землю и умру.

– Рога…

– Што?

– Рогатку хотел сделать, – солгал я. – Рогатку хотел пилить.

– Какую рогатку?

– Ну, такую. Резинку крепишь и стреляй.

– Чей отроду будешь?

Я назвал свою фамилию.

– Пойдём к отцу твоему, пусть он тебя сам выпорет!

И я как на расстрел шёл домой.

В тот вечер я получил ремня и строгий выговор от отца. Еще были вопли матери, мол, так и застрелить мог «этот дед, а ему что – он своё отжил», и даже бабушка осудила мой поступок.

– А как вы узнали, что я на дереве? – мы выходили из колхозного сада, когда я решился спросить у Чечушкова.

– А ты видел, сколько под ним яблок? Ветра-то не было.

<…>

Восемнадцать лет спустя я приехал в колхозный сад. Отмотал алюминиевую проволоку, отрыл калитку, которая также противно скрипела, как тогда.

Ветра не было. И яблоки не падали. Вырубили сад.

Лёхина весна

Ароматы цветущих деревьев сводят с ума.

Поутру открываешь окна и даже не успеваешь вдохнуть. Замираешь. А потом как во сне: мутно и нереалистично. Стоишь, дышишь. Мотаешь головой по сторонам, ощущаешь аромат, но не видишь.

…по тротуару. Я шёл на работу. Солнце пекло. В воздухе парили выхлопные газы. Мимо проезжали машины, оставляя после себя шлейф пыли. Тропа одуванчиков уже пушилась, но среди белых пампушек можно было разглядеть жёлтые огоньки цветов.

У остановки, что напротив хлебокомбината, во всей своей красе, кипенно-белая, разваленная, стояла яблоня. В этом году её пышные ветви, усеянные цветами, клонись до самой земли. Мелкие собачки подбегали к дереву, нюхали цветочки. Чихали.

Я приближался к чуду. И это огромное облако цветов, подобно горе, заслоняло всю привычную жизнь. Ни дороги, ни людей, ни тротуара. Всё будто исчезло. И я остановился, уставился на куст.

Прохожие, совершенно несчастные люди, бежали по своим делам, боялись опоздать на работу, в поликлинику, в магазин за свежим хлебом. Летели, ничего не замечая на своем пути. Будто всё это для них – обыденное. Будто яблоня цветёт круглый год, а аромат – уже приелся. Будто повседневные духи, которые со временем перестаешь на себе ощущать.

Я подошёл вплотную к яблоне и вытянул руку. Зацепил мощную ветку и притянул к себе. Сделал глубокий вздох. От стеснённого дыхания закрыл глаза. Но тут же – осёкся. Посмотрел в сторону, слева от себя. Там, посреди тротуара, стоял мужчина. На вид ему было лет сорок. Хотя по паспорту, уверен, лет на десять меньше. Он был в грязной одежде, рваной кепке, а в руке держал бумажный пакет. Криво выбрит, мешки под глазами. Щёки.

– Чё делаешь? – выговорил он, пытаясь не упасть.

Его штормило.

Я не ответил. И он ещё раз спросил:

– Чё делаешь?

– Нюхаю яблоню, – выдавил я.

И засмущался, когда он подошёл ближе.

– Наркоман что ли?

– Иди, куда шёл, – мои слова пролетели мимо.

– Ааа. Вон чё. Типа весна? Типа яблоня цветёт?

Ещё одно слово, подумал я, и мне придётся сбежать от этой назойливости.

– А я Лёха. Местный алкаш.

Вот оно что?! Чётко.

Я посмотрел на Лёху и опустил ветку. Несколько лепестков закружились в воздухе.

– Да не бойся, я не буйный. Просто тоже люблю яблони… Нюхать их – одно удовольствие.

– А чего пьяный с утра? – мне и вправду стало интересно.

– Какое утро? Время полдень! Я с пяти утра на ногах.

Это было преувеличение. Во-первых, было только десять утра. Во-вторых, разодранные коленки говорили об обратном, да и алиби «на ногах» было глупостью.

– Посидели с мужиками немного. Теперь иду домой.

Я ничего не сказал, демонстративно отошёл в сторону и стал смотреть на макушку яблони.

Лёха подошёл ко мне и встал рядом. От него пахло дешевым портвейном и старью (от одежды). Нос у Лёхи был облезлым, волосы торчали из-под козырька. И зубов – не досчитаться, особенно, когда сильно улыбается.

Мы стояли, как два душевно больных человека, и смотрели на яблоню. Лёгкий ветер трепал ветви, падали мелкие хлопья-лепестки. Рядом пролетали машины. Прохожие.

– Люблю цветущую весну, – заговорил Лёха. – Она напоминает мне детство. Когда у бабки жил в деревне. Лет семь мне было. У них с дедом был сад яблок. И я такой всегда, когда в гостях был, там пропадал. Знаешь, какая у меня была коллекция шмелей?

Я посмотрел на Лёху и мотнул головой.

– А вот и не знаешь! А было двадцать шесть. А ты попробуй хоть одного поймай!

– Зачем они мне?

– Ты когда-нибудь гладил шмеля?

– Чего?

– Шмеля, говорю, гладил?

– Нет.

– А я гладил. Мой любимый Жорка был…

Я подумал, что у Лёхи поехала крыша. Но. Он вытянул руку вперёд, сжал и разжал пальцы. И тут случилось то, что до сих пор у меня не укладывается в голове: к нему подлетел шмель и сел на палец. Я выпучил глаза. Лёха увидел моё удивление и засмеялся.

– А ты так не можешь!

Что правда, то правда. Шмель сидел на пальце Лехи неподвижно, пока рука не затекла. Пока не дрогнул ею.

– Они ж меня за своего держат, – высоко сказал Леха, – я им не враг.

Да я как бы тоже, подумалось мне.

– Когда я был маленьким, я всегда мечтал… это. Чтобы такая весна была всегда.

– Зачем? Люди и такую весну не замечают, а ты говоришь…

– Так люди вообще ничего не замечают. Напридумывают себе проблем и мечутся. Погрязли по уши в своих делах, детях, работе, а на жизнь-то у них нет времени.

– А как быть? – это был принципиальный вопрос.

– А как быть – это уже они сами должны решить. Но знаю одно – счастливым точно надо быть!

– А ты счастлив? – спросил я.

– А ты не видишь? – спросил он.

Лёха улыбнулся, расставил ноги и вытянул руки в стороны.

– Ну…

Я промолчал.

– Ну да, я алкаш. Но счастливый алкаш! И этого у меня не отнять.

В его глазах была жизнь. Трудная, а где-то – тяжёлая. Но счастье точно было. Хотя бы в том самом яблоневом саду в деревне… Или момент, когда он гладил шмелей. Или просто – любил. Встречал весну. Жил. Пусть и не праведно. Да и кому эта праведность сейчас нужна?

Лёха подошёл к яблоне, наклонил куст и глубоко вздохнул. Отпрянул и сказал:

– Ладно, покедова! Дел ещё много.

…и я стоял, смотрел вслед Лёхи, который неуверенно, криво, побрёл вдоль бетонного забора. На перекрёстке свернул направо.

Исчез.

Будто и не было его.

А я стоял, смотрел на яблоню и пытался ответить себе честно – счастлив ли я? Счастлив ли я так, как счастлив Лёха?

Наверное, нет. Я никогда не гладил шмеля.

Сквозняк

Я был в комнате. Прислонившись к двери, пытался разобрать, что говорил дядя-врач. Он говорил тихо, но мне удалось услышать несколько фраз: «пусть отдыхает», «покой ему надо» и «звоните в скорую, если что». Зашуршали замки нашей входной двери, скрип послышался. Потом я понял, что мама в тапочках на жёсткой подошве идёт по коридору.

Осмотрев темноту вокруг себя, я подскочил и быстро добежал до кровати. Залез под одеяло и задышал чаще. Дверь в комнату приоткрылась, настала тишина. Тикали часы, я слышал. Билось моё сердце. И ещё из звуков – щелчок двери… Мама ушла. Я попытался уснуть. У меня даже получилось, но недолго.

Я вновь услышал стон дедушки за стеной и как мама набирает номер: у неё всегда пищали кнопки на телефоне. Но я не услышал разговора, который последовал позже. Лишь шёпот бабушки до этого. Он-то и окончательно взбодрил меня. Я лёг на спину, стал разглядывать потолок и считать на нём пластиковые звёзды.

…Бабушка давно не жила с нами. С дедушкой – ещё больше. Но как только мама сообщила, что «её пузёк умирает», она тут же примчалась. В пальто поверх домашнего костюма. Сначала она глубоко вздыхала, потом успокоилась, присев на стул, не раздевшись. Читала молитвы, которые я не мог слушать. Мне всегда казалось, что она делает это неправильно: её никто не слышал. А уж тем более – не помогал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.